

день поперек недели

ДЕНЬ
ПОПЕРЕЁК
НЕДЕЛИ

РОМАН
В РАССКАЗАХ

АЛЕКСАНДР
ШВЕЦОВ

альпина
ПРОЗА

Москва, 2026

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-44
Л55

Редактор НАТАЛЬЯ НАРЦИССОВА

Ливенцов А.

Л55 День поперек недели : [роман] / Александр Ливенцов. — М. : Альпина нон-фикшн, 2026. — 316 с.

ISBN 978-5-00223-809-5

«День поперек недели» — роман в рассказах о семье, дружбе и о времени перемен, которым стали и 1990-е, и нынешние годы. Главный герой — мальчик эпохи перестройки, подросток 90-х, — взрослеет у нас на глазах, от рассказа к рассказу. Его родня ищет лучшей жизни, исторические декорации стремительно меняются, но 90-е показаны без ужасов бандитизма и политики, мы видим их глазами подростка, а детский глаз ловит больше красок. Финальная повесть возвращает читателя в наши дни — с мобильными, с кофе на каждом углу и мрачной лентой новостей. И в один из таких дней — поперек недели — судьба героя, уже взрослого, сорокалетнего человека, круто меняется.

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-809-5

© А. Ливенцов, 2026
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2026

ДЕНЬ ПОПЕРЕК НЕДЕЛИ

Я молол кофе и нюхал, мама варила и пила, наливая в чашку через два ситечка. По утрам мама не в духе, днем мечется от дела к делу, вечером валится в кресло, смотрит телик — это время конфет, она и тут как на скамье запасных: сидит, сжимает подлокотники.

Окна нашей однушки выходят во двор, он зарос лавками, вдоль улицы чередой ларьков, за ними громоздятся шкафы панелек. С пятнадцатого этажа это смотрится не так убого, как с земли. Прозрачная в далекой дымке, стоит игла телебашни.

Небо заволокло — вылили ведро серой краски и так оставили. Я представил этих небесных маляров — сантехников из ЖЭКа размером с высотку и во всем белом. Они же протянут из-за горизонта шланг с дождем, но это только к обеду.

Мама ушла на балкон с кофе, я достал нам тарелки с ложками, сел за стол дожидаться. По утрам каша. Овсянка берегла меня от гастрита, а мама

берегла себя от конфет — вручала мне пакет, чтобы спрятал и выдавал по первой просьбе. Он темнел в углу под кроватью руинами старого города. Вечерами мама подходила ко мне, показывала два пальца, и я отсчитывал две конфеты.

Вернувшись, она посмотрела с горечью на меня, на сервировку и напонила устало, как говорят с дураками:

— Сколько раз повторять: ты не завтракаешь. Только после гастроскопии.

Я так сильно хотел забыть о предстоящем, что почти удалось. Впрочем, не идти в школу для среды уже роскошь. Ненавижу школу.

Запираясь в ванной, мама предупредила, что это надолго: маски, кремы — все основательно. Только зачем сегодня? Гостей не ждем, никаких встреч. Может, и от меня что-то требуется, кроме как заглотить эндоскоп? Исходный план был прост и хорош: после больницы мы идем в кафе на Арбате, а потом до вечера гуляем по городу. Повода быть при параде на будничных московских улицах я не видел.

Желудок подводил меня. В свои десять лет я привык пить таблетки по расписанию. Если выдавался месяц-другой без них, не мог отвязаться от чувства, что забыл что-то сделать. Весной случилось два приступа: весь день лежал пластом, отвлекаясь только на рвоту, и хотелось одного — неподвижности.

Врачи шли по диагнозам, меняли таблетки. Пару раз в поликлинике нам озвучили, что пора настроиться на плановое обследование — полежать две недельки, а до того сделать гастроскопию.

Больше всего я боялся загромоздить в больницу, в ее коридоры с голыми крашеными стенами, с линолеумом на полу и слабой лампой под потолком — такой больницу показывали по телевизору, настоящей я не видел. Результат сегодняшней гастроскопии определял мое будущее на ближайшие недели: школа — ненавистная, но с ней я уже свыкся — или эти коридоры с тусклой лампой.

В ванной шумел душ. Есть, как назло, захотелось сразу после запрета. Днем мама обещала меня баловать, но это сколько ждать? С полотенцем на голове, она вышла, заварила второй кофе, потребовала конфету — я слазил в тайник. И брюки, и сапожки мама выбрала самые нарядные, подвела глаза, прошлась по губам помадой и стала совсем иной, малознакомой киноактрисой с пышным именем — Жанной, Виолеттой, — таким дарят охапки роз и распахивают перед ними дверь авто.

— Мы с кем-то встречаемся? — Я завязал шнурки потуже.

— Что, хороша? — Мама улыбнулась. — Нет, не встречаемся... это для себя.

Я не удивился бы, если б она подушилась из голубого флакона с колпачком в виде бутона ландыша, который держала на особые случаи. Другой флакон — пузатый, красный — полагался для

семейных застолий, не отягощенных важными гостями.

Обошлась без духов.

— Зонттик возьми, — напомнила и повязала шарф, ярко-зеленый, он украсил серую клетку пальто.

Я стоял в углу, любовался ее преображением и размышлял о дужке очков с толстым черным заушником, которую нашел недавно у маминой кровати. Мама очков не носила, подруги — все с тоненькими оправками. Папа носил, но с развода он тут не появлялся, об этом и речи не шло. Я спрятал находку на дно тумбочки, но стоило остаться одному — доставал, вертел в руке, как волшебное перышко.

В холле больницы повис знакомый врачебный запах. По углам, точно шахматные ладьи, стояли кадки с пластмассовыми деревьями. Топили щедро, сухой больничный жар нагрел щеки. Казалось, подбавить градус-другой — и больница с хрустом отделится от земли и полетит над крышами... вечером нас с мамой покажут в новостях, будут клясть коммунальщиков, что не уследили за батареями.

Перед кабинетом собралась очередь, мы заняли, сели, не разговаривая, повинувшись общему молчанию. Два мальчика и девочка переглянулись со мной. Плакать негласно запрещалось. Ближе всего к слезам был мальчик с большими черными глазами, он уже опустил плечи и ковырял пальцем

колени. Его мать сидела со сжатыми кулаками, точно держала в них вожжи, и еле слышно шептала: «Не смей».

Через час я вошел в кабинет. Прежде чем дверь захлопнулась, успел обернуться к маме — она сидела, стиснув губы, точно с эндоскопом шли к ней.

— На кушетку, — велела докторша. — На левый бок.

Она была молодой. Стройной, рыжей, большеглазой куколкой в узких брюках. Я еле отвел взгляд.

— Не в первый раз уже? — спросила тихо.

Кивнул зачем-то. Глупо.

— Вот и чудно, — одобрила куколка, дописывая что-то длинное, кучерявое, с трудом уместившееся на бланке.

Медсестра натирала кишку марлей. Остро пахло чем-то едким — ни дома, ни в школе я таких запахов не встречал. Работала медсестра лениво, но в руках ощущалась большая сила.

— Готово, Ольга Вадимовна. — Она подступила к кушетке и протяжно зевнула.

Ольга Вадимовна покончила с писаниной, натянула перчатки и со вздохом села передо мной. Все они тут скучали, а у меня от страха замерзли пальцы.

Докторша была красавица, и я снова пялился на нее. В средние века таких жгли на кострах, такой красоты боялись. И мне стало еще страшнее. Взяв конец эндоскопа, Ольга Вадимовна склонилась надо мной со словами:

— Открывай рот. Больно не будет.

Пуговица на ее груди еле держалась. Пуговица с двумя дырочками и кантиком, по халату от нее натянулись складки.

Обманула. Несколько минут я корчился на кушетке, как напуганный моллюск, болело горло: кишка его оцарапала.

Обманула Ольга Вадимовна. Но я до последнего любовался ею и против воли думал, что она красивее мамы, которая потратила на себя все утро и сегодня была чудо как хороша, а этой докторше только с подушки встать — и она уже лучше. О справедливости говорят или идиоты, или слепые.

Дважды в красках я описал маме всю пытку, отметил боль в горле и признался, что докторша симпатичная, а это неправильно — они должны быть в возрасте, в очках с приличными диоптриями и с теплыми руками. Мама посмеялась, даже прижала ладонь ко рту, но вскоре Ольга Вадимовна пригласила ее забрать заключение. Выйдя из кабинета, мама кивнула и заметила:

— Ей бы в кино сниматься.

Поднялись к гастроэнтерологу. Эта была врачиха что надо: в возрасте, морщинистая, как чернослив, и с диоптриями в роговой оправе. Звали ее Тамара Игнатьевна. Она одновременно слушала маму, читала заключение Ольги Вадимовны и отмечала что-то шепотом. Ощупала мою шею, заглянула под веки и сказала внушительное докторское:

«Ну да, ну да». Я смотрел на нее и видел больничный коридор, линолеум, слабую, моргающую лампу. Где-то на столе, в какой-то кипе бумажек лежали билеты в больницу, и Тамара Игнатьевна отпускала их, как в окне вокзальной кассы.

— Тут больно? А тут?

Промяла живот, оглядела язык, выслушала от мамы насчет моего «тепла» в животе и недавних приступов. Перегиб желчного она отгадала прежде, чем добралась до УЗИ. Дисбактериоз и бесконечные ОРВИ — прежде, чем заглянула в карту.

— Тут что? Какашки... так-так... — пошли анализы.

Слушая ее, я уже брел по больничному коридору, босой почему-то, ноги липли к линолеуму.

— Весь он у вас вегетососудистый. — Тамара Игнатьевна досмотрела последний лист, уложила руку на всю пачку, побарабанила пальцами. — Одевайся. Так, мама, слушайте.

Я натянул майку до половины и замер, увидел их обеих в просвете выреза — темные силуэты на фоне сияющего окна. Я полз вглубь майки, как в волшебную трубу навстречу новой жизни, полной эндоскопов и липкого линолеума. Я не дышал, я превратился в слух, и я не верил ушам — Тамара Игнатьевна сомневалась насчет больницы.

Ангел во плоти. Одевшись, я сел на стул против нее, весь обмяк и опустил взгляд к ее ногам — к стоптанным бабушкиным сандалиям. Не грех их было поцеловать.

Беседа вышла короткой. Тамара Игнатьевна подрихтовала набор таблеток, продлила травки, настаивала на физкультуре, а главное — поменьше нервов. После внушительно посмотрела в мою сторону:

— Может, там и найдут что-то — врачи в Русаковской толковые, но думаю, это лишнее.

Снова я поглядел на ее сандалии. Нет, не стоит, не поймут.

В холле уже набежало народу, близился час посещения. Многие дети сидели, уложив руку, а то и обе, на соседние стулья — держали места для родителей. Я поглядел на такого мальчика, и жар страха лизнул спину — господи, пронесло.

Мама достала термос с травами. Я выпил половину, морщась от боли в горле. Погода портилась, но на погоду было плевать, хоть бы молния была и валил черный снег — день оказался лучше многих, шлифованных солнцем с утра до ночи. Вся эта среда теперь была наша.

И у мамы не болела голова. Если бы подло, как всегда, из-за угла нового утра накатила мигрень, грош цена была бы этому празднику. Мамино лицо посерело бы, точно боль вымывала из него краски. Но мигрень прошла мимо, и я благодарил незримого божка, ответственного распределять меж людьми головную боль. Обычно тебя проклинают, а сегодня я посылаю мысленный поцелуй твоим копытам.

Только мама отчего-то не просветлела, ей не хватало радости.

* * *

Доехали до Арбата. В кафе обслуживали всех, кто с детьми: предъявляешь ребенка, встаешь в очередь за булкой с корицей. Мы взяли три — две мне, одну маме — и два эклера в придачу. Внутри решили не сидеть, прошли дворами на Калининский, и тут полил дождь.

— Чтоб тебя! Всю жизнь невезуха, — сетовала мама, прячась под козырек магазина.

Я выставил руку, смочил дождем и обтер лицо. Дождевая вода отличается от той, что из крана.

Кусок за куском я заглатывал булку, терпел боль в горле и думал, что в больнице сейчас, наверное, обед. Сидят локтем к локтю. Что там на подносах — пюре, вареная рыба? Господи, пронесло.

Под тем же козырьком к стеклу прислонился мужик — заглядывался на маму, подошел бы, если б не я, курил и сдувал пепел, поднося уголек сигареты к губам. Иногда табачная вонь долетала до нас, и я ждал, что терпение мамы кончится — она запросто запрещала все и всем, а не только мне, но вместо этого вдохнула глубоко и призналась:

— Все пять лет в институте курила. Бегали, стреляли друг у дружки.

Я проглотил эту новость с остатками булки, смотрел на маму, пытался представить ее с сигаретой. Она отвела взгляд и проверила время. Куда мы могли опоздать? Часики ее мигнули овальным бликом и скрылись под рукавом пальто.

На минуту дождь побелел, точно разом спустил три тюля. Мутные воды разлились по проспекту, машины гнали волну. Как-то в вечерних новостях дали выпуск о пацанах, которые с тряпками и тазами кидались тут, посреди Калининского, на легковушки и имели свой рубль. Я помножил лучшую цифру их дневной выручки на тридцать календарных дней и сообщил маме, чтобы готовила тряпки с тазом. Она не отговаривала. Всю ближайшую субботу, снаряженные как мойдодыры, мы провели на проспекте, но так и не осмелились подойти ни к одной машине. Дома я разобрал сумку и понял: мама не взяла моющих средств — самых тяжелых и неудобных, — она уже тогда знала, что я не буду мыть никакие машины.

Дождь утих, перекинул через проспект тусклую радугу, развесил тучи.

— Удивительно, что башка не болит. — Мама шурилась в небо. — Лежала бы сейчас пластом. Просто чудо.

— Мы бы в тебя кофе влили.

— Он на час спасает. Очень короткий час.

Пройдя Калининский, мы двинулись через город дальше. Отмытый, он казался чище, лужи

дырявили асфальт. А было бы солнце — висело бы в зените, слепило, пекло. Знай я, что меня упекут в больницу, я бы это солнце ненавидел.

Когда в городской застройке показался бесконечно широкий дом с клеткой окон вроде тетрадного листа по математике, я сразу понял: это больница. Минутой позже прошли мимо проходной — ну точно, городская клиническая номер такой-то. Перекреститься и бежать. Мама уловила во мне перемену и сама поменялась в лице, словно давно и сильно была недовольна мной. Отвернулась. Опять проверила время.

— Что ты на часы смотришь? — Я не выдержал.

— Просто привычка.

Слабая ложь, пустая, без выдумки. Мне за такую влетало. Уж если врешь — постарайся, законпать дыры, подсвети фасад.

Что-то происходило с мамой, и я не понимал что... А мы шли, шли и в какой-то момент потерялись, наугад ныряли во дворы, и я рассказывал, что в играх это называют «туманом войны» или «слепой зоной», когда впервые осваиваешь незнакомую карту. Мама кивала, и мы снова шагали молча. Через час забрели в городской парк, опять хлынул дождь. Зонтов достать не успели, вбежали под дуб, отряхнулись, умылись оба. Опять мама поила меня травками — остывшими, горькими.

— Настоялись за день. — Она понюхала из термоса, пригубила, зажмурилась.

Горло почти не болело.

За забором парка катили поливальные машины, клали вбок толстые белые струи, слабо различимые в пелене дождя. Громыхнуло и покатилося меж турами. Деревья распухли в дымке и громоздились великанами. Мама стояла зачарованная, еще красивее, чем утром, непогода нашептала ей такой меланхолии, что казалось, этим вечером история человечества, пожалуй, кончится — все сказано.

Наконец я справился со своим питьем, и небо пороняло все капли. Пройдя парк, мы вышли к аттракционам. Работало колесо обозрения. Снова очередь. Пока вытирали намокшие сиденья, кабина одолела половину подъема, туман рассеялся. Редкие дома выступали над мягкой мглой и вязли в собственной тени. В верхней точке колеса кабина на миг зависла, как в невесомости. Все замерло: ветер, птицы и наши с мамой маленькие сердца.

После мама расщедрилась: взяла две непросительно дорогие порции шашлыка на бумажных тарелках. Я жевал, поглядывал на маму — уж слишком она меня баловала за эту несчастную гастроскопию, за страх перед больницей, который не оправдался, как большинство страхов. А мама подвигала ко мне лучшие куски и сверялась с часами — опять.

Сытые, умявшие за раз столько мяса — и такого вкусного! — мы вышли из ворот парка, и город надвинулся, будто того и ждал. Мы ели мясо, а город — нас, вот спустимся по улице, станет

переваривать: шуметь дорогами, мигать огнями — это его ферменты.

Как же я удивился, когда на перекрестке мама прошла мимо зебры, хоть горел зеленый, и направилась к церкви. Блестящие, намытые дождем купола возвышались над кронами парковых деревьев. Минутой позже мы отворили высокую тугую дверь.

— Что нам тут... — начал было я и замолчал под сердитым взором продавщицы свечей. Пахло копотью, звуки тонули в гулком эхо.

Мама купила свечу и обернулась ко мне с прижатым к губам пальцем.

Ладно. Помолчим.

Икону, что она выбрала, я бы и не заметил — в углу, в потемках, лишь бледные остывшие огарки заселили подставку. Отколупав один такой посередине, мама зажгла свечку, подсмолила снизу, втиснула в дырочку и свела ладони.

Еще раз я промотал в уме речь Тамары Игнатьевны и не нашел опасностей, с которыми следовало идти прямо к Богу. Гастродуоденит, ВСД, перегиб желчного — все это старые слова, и заключение гастроскопии ничего не прибавило. Тихонько я подступил к маме и в слабом дрожащем свете прочел по краю иконы: «Святой Петр... Святая Феврония...»

«Ну и имечко...» — качнулось в мыслях.

Минут десять мама стояла, последние пять — с закрытыми глазами, лоб касался сведенных пальцев, губы еле заметно двигались, но сколько

я ни вслушивался, слова не разобрал. Вдобавок откуда-то сверху, хоть над нами не было ни второго этажа, ни балкона, а только чистый белый свод, полилось пение, такое же чистое, белое. Ничего, кроме него, я уже не слышал — таял в нем, плечи набухли тяжестью. В эти десять минут я устал стоять больше, чем весь день ходить под дождем, и, как только вышли на улицу, спросил:

— Мам, о чем ты просила?

— Об этом нельзя говорить.

— А что за Петр и Феврония?

— От бабушки повелось. Ничего для тебя интересного.

Она спустила шарф, который в церкви накинута на голову, сняла нитку с плеча, минуту терла платком сапоги, а затем снова спустила из рукава часы.

Другую сторону дороги обжили высотки; на углу ближней, как гриб у дерева, росла телефонная будка. Оказалось, мы идем к ней. В закрытую, как эта, я всегда залезал вместе с мамой, было тесно и уютно. Но сегодня она меня не пустила — захлопнула дверь и молча подняла ладонь, запрещая вопросы.

Ладно. Подождем.

Я насупился, помялся, с укором посмотрел на маму и тут совсем остолбенел. Прежде чем звонить, она раскрыла сумочку, достала флакон духов — голубой, с колпачком в виде бутона ландыша — и дважды пшикнула на себя. Одна... в телефонной будке... После, расправив плечи и подняв

подбородок, мама опустила монету. Аппарат глотал ее, чавкал железным нутром, пока мама набирала номер. Говорила она недолго, уложив руку на край телефона, как на чье-то плечо, и поглаживая его пальцем. Говорила, поглядывая на меня и запрещая себе улыбку, которая несколько раз просилась наружу.

— Кому ты звонила?

— На работу.

Ложь, уже привычная в этот прекрасный день. Вот как выглядит лицо человека, который врет и знает, что не накажут, — спокойное, уверенное лицо. Секунду мама смотрела на меня и, прежде чем отвести взгляд, дала понять без слов: «Не твое дело».

Сладко пахли ее духи.

* * *

Последнюю очередь на сегодня мы отстояли за конфетами — маме так захотелось, а мой тайник был далеко. Взяли триста грамм «Кара-Кума». Пару мама съела сразу у дверей магазина, третью развернула дрожащими пальцами и выронила.

— Дома спрячу их, — напомнил под грохот трамвая.

— Да-да, прячь. — Она смяла фантик, кивнула, и по ее голосу я ясно понял, что мама знает, где тайник, и всегда знала.

Пройдя магазин, она свернула во дворы. Тут росли тополя — ох и натерпелись от них местные, представляю эти сугробы пуха в июне. День убывал. Детская площадка опустела, с углов ее обрамляли вкопанные в землю раскрашенные шины, урна пухла от пивных бутылок.

Я сел на качели. Мама покосилась в сторону лавки с урной и осталась стоять. Опять полезла за конфетой, проглотила, не разжевав толком, скомкала фантик и промазала мимо урны. Тихо, сквозь зубы, выругалась, обхватила руками плечи — сдавила их, пальцы побелели. Давно я не видел ее такой разбитой. Как? Когда это случилось? Сейчас или с утра тлею?

Нет, мне не мерещилось. Весь день она была сама не своя, а сейчас искала слова, с которых начать:

— Слушай...

Я сжал цепи качелей.

— ...тебе все же надо лечь в больницу...

В просвете домов, грохоча железом, прокатил трамвай, целиком раскрашенный рекламой «Сникерса». С проводов сыпались искры.

— ...целиком нужно обследоваться... а то не вылезешь из этих поликлиник...

От церкви вслед трамваю летел колокольный звон — ленивый, словно я слышал его сквозь подушку.

— ...рано или поздно придется лечь. Лучше сейчас, чем с язвой. Папа твой всю жизнь на кашах.

Утихли колокола.

— ...нового она ничего не сказала и не назначила. Ничегошеньки.

— Она сказала, что меня можно не класть! Нещо сколько раз сказала!

За тополями ожили фонари. Пахло мамиными духами. Она прислонилась к опоре качелей и чертила носком сапога круг по земле.

— Не лягу туда!

Я встал с качелей. Заходил кругами, точно она заколдовала меня своим сапогом.

Снова сел. Как подкосило.

— Не лягу! Не лягу туда!

Круг рос и уходил вглубь.

— Она же сказала — не надо!

У ближней машины — пустой и заглушенной — работали дворники. Так не бывает, но они елозили по лобовому, скрипели.

— Не лягу, и все, — буркнул себе под нос и подогнул ноги, чтобы не касаться земли.

В небе просветлело, но даже солнце, последнее на сегодня, казалось лишним. Я сощурился на него и подумал: «Уйди, гадина».

Мама зачеркнула круг на земле, притоптала ногой. Без удовольствия она жевала очередную конфету, а после долго отмывала языком зубы, прежде чем заговорить.

— Это еще не все. — И она взялась чертить новый круг на месте старого. — Ты, пожалуйста,

прими как есть... я тоже живой человек... ты маленький, вряд ли поймешь, но все же...

Загорелся фонарь у площадки.

— Я встретила мужчину...

Пивные бутылки заиграли желтыми бликами.

— ...я вас познакомлю... после твоей больницы...

Тополя шелестели, повеяло духами... колпачок в форме бутона ландыша...

— Артур, его зовут Артур, он хороший человек...

Мама опустила руки в карманы пальто, опустила плечи, потухла вся и не знала, что свет фонаря опалил огнем ее волосы.

— Да пофиг, как его зовут! Это с ним ты говорила по телефону? Он носит очки, да? Я знаю, он носит очки! Я буду вам мешать эти две недели. Это ты с ним говорила по телефону! — выпалил на одном дыхании.

Дворники отсчитывали секунды.

— Возьми себя в руки! Он хороший человек. Умный, порядочный. Папа тоже кого-то себе найдет. И при чем тут очки?

— Может, я к папе и перееду на две недели? Давай я поеду к папе?!

— И как мы ему объясним?

— Скажем, ремонт.

— Когда дойдет до ремонта, ты будешь делать его вместе со мной.

Я взял конфету, помял, сунул назад в кулек. Горло уже не болело. Больничные коридоры вставали перед глазами и оседали мутно, как речной ил, лампа под потолком палаты мигала слабо, желтая, как фонарь детской площадки. Скрипели дворники, бедные, — всю ночь им мотаться туда-сюда... Интересно, можно протереть дыру в стекле?

— Надо тебя постричь. — Мама провела рукой по моим волосам, зарылась в них лицом, вдохнула. — Сходим в субботу, перед больницей.

ПОСИДЕТЬ НА ДОРОЖКУ

Первым из солнечной сытой деревни приезжал дед — на неделю в конце мая. Потом бабушка. По этому поводу мама затеяла на кухне перестановку. Я ленился и накликал скандал, весь час, пока ворочал шкафы, мы ругались. К ночи удалось заполнить пустой угол, а у окна втиснуть новое кресло — маленькая победа, когда живешь в однушке.

Утром, прежде чем ехать на вокзал за дедом, мама обыскалась своего тапка:

— Ноги у него, что ли, выросли?

А я смотрел на дверцу шкафа, где серебрилась мишура: с января не убрали. Новогодние искры навевали мысли о заснеженной деревне, хоть я напроць забыл ее. Ребенком провел там январь, но деревенскую зиму из памяти вымело, осталось только лето — жаркое, жирное. А зимой, мама уверяла, снег заваливал входную дверь наполовину и выше. И что тогда? Траншеи копать?

На перроне мы углядели деда издали: в кепке, румяный, ноги колесом, будто полжизни провел в седле. Обнялись. Он раскраснелся, пустил слезу, с боем я отобрал у него чемодан, мама взяла сумки. Пока шли вдоль поезда, дед любовался сводом купола: тусклое стекло скрыло небо, но свет сочился — особый, вокзальный, с запахом мазута. А на выходе продавали чебуреки, пахло жареным маслом, мама уверяла, что его днями не меняют, и называла «машинным». Почуяв его аромат, дед сбавил шаг и встал в конец очереди.

В селе работа по хозяйству удручала деда. Каждое утро бабушка уговорами поднимала его на ноги и каждый вечер с боями загоняла в дом. Охотно он ходил лишь на работу в клуб, преображался — намытый, одетый с иголочки. Деда любили. Киномехаников всегда любят.

Фото его не сходило с Доски почета, но это скорее про закрытый вовремя план — про конкретную сумму, сданную по итогу месяца в районную кассу. И дед делал эту сумму с горкой. Бобины привозил рейсовый автобус. По износу пленки уже было ясно — хорошее кино или так, и деду наперед везли лучшее. Все рейсовые водители были у него в приятелях, всем он доплачивал — особенно за индийские фильмы. Если утром «Индия» попадала деду в руки, вечером клуб был битком.

Бабушку удалось оформить кассиром, для мамы в первом ряду всегда держали место. «Белые

люди», — как-то услышала она в спину, пока протискивалась к своему стулу, и постеснялась обернуться. Бабушка успокоила: «Пусть завидуют». После уроков, покормив птицу и прополов грядки, мама училась клеить пленку и выводить завитки на буквах афиш. Бабушка белила в кинорубке стены, и все было хорошо, пока Толик — родной мамин брат — не угодил на два года в тюрьму... пока дед не стал попивать.

Толику было шестнадцать, провожали друга в армию. Выпили, подрались и сверх того с дружкой отняли у побитого рубль сорок. Мятая желтая бумажка и пара монет решили судьбу Толика.

Знакомый участковый успокоил: за такое сажать — тюрем не хватит. Но суд учинили прямоком в сельском клубе, где вечерами дед крутил кино: вход бесплатный, зритель прикормлен. Когда об этом стало известно, дед и бабушка поняли: суд будет показательный. Из райцентра прибыли партийный работник и профсоюзный. В защиту выступала школьная завуч. Документы обвинения лежали на столе, крытом скатертью, — в том числе и бумага о «неблагополучной семье»... нашлась и такая — интриг в деревне хватало.

Из клуба Толика увезли на два года, чего не ждали даже с учетом показательного суда. После он рассказывал, что по пути в колонию их всех — обритых, «неблагополучных» — кормили селедкой и не давали пить; кажется, такое уже было в истории.

Дед запросто мог хлебнуть спирта, чем приводил бабушку в ужас. Когда к концу лета дед гнал самогон, бабушка ходила вокруг тучей, а я с восторгом наблюдал, как чистая пахучая слеза капает сквозь марлю и как над ложечкой качается синее пламя.

Самогон был излишком — побочным продуктом, необязательным. На каждом огороде тянулась полоса виноградника. Иные сорта покрывали живым куполом двор от калитки до дома — это еще пара соток. Вина в погребах набиралось до трех тонн — смотря какой год да по умению выхаживать урожай. И вопреки этому в любой деревенский магазин исправно везли дешевый портвейн и водку.

В таких магазинах дед и отоваривался и нес свои пол-литра в кинорубку. Дома лишь под крики бабушки ему доставался стаканчик, ключ от погреба она носила в кармане. А стоило принять лишнего, и бабушка наказывала деда, не выходила работать в клуб на кассу.

Зимой в один из таких вечеров, наказанный, он провел сеанс и, наверное, добавил с тоски — разомлел, а по пути домой поскользнулся, сполз в канаву, барахтался, как жук на спине, не мог встать. Луна глядела на деда белым глазом. Чутье заставило бабушку одеться, пойти навстречу — когда нашла, он уже хрипел: обмерз, нажил радикулит.

При этом пьянство деда видели только родные. Стоило кому в деревне узнать, что он попивает, — искренне удивлялись.

В нашей городской ванной дед провел не меньше часа. Мама достала капусту, которую сквасила к его приезду, разложила по тарелкам тушеного мяса. Дед украсил стол бутылью розового вина, достал сала в тряпочке, банку солений — запахло чесноком, лавровым листом, укропом.

В этой первой, самой теплой беседе мама хотела сманить деда переехать в город, а после вместе с ним уговорить и бабушку. Лечить их тут, приглядывать за ними было бы куда проще — одна дорога в деревню отнимала двое суток. Пару попыток мама уже делала, но предложение переехать было обидным, да вдобавок: «А если не приживемся?» — этот козырь бабушки мама ничем не могла покрыть. И сегодня разговор с дедом не заладился, не откликался дед: «Потом, Лариса, потом» — и рукой провернет, будто крутит ручку проектора.

За чаем выяснилось, что пропало ситечко. Утром я его видел на носике чайника — блестело под солнцем, как мишура на углу шкафа. Теперь блестел только носик чайника. Все ящики мама облазила и развела руками:

— Утром тапок, теперь ситечко... У нас домовой завелся?

Деда разморило, полбутылки розоватого света как не было. Пока уговорил остатки, растрогался, плакал, стирая слезы ребром ладони. Я сосал шкурку от сала и в сотый раз слушал, как повесился мой прадед — на армейском ремне под крышей чердака, меж сохнувшими кроличьими шкурами.

Всю войну прошел в пехоте, был ранен в лицо и с трудом говорил новыми свистящими словами, какие никто не понимал толком. Пуля прошла на-вылет, попортила челюсть и скулу, но оставила живым, чтобы он сам все dokonчил.

Походы по магазинам деда не прельщали. Ассортимент колбас и сыров наводил скуку, винно-водочные богатства тоже не вдохновляли. Всякий раз дед спешил набить поскорее сумку — и вон на улицу. Ни разу, сколько был у нас, он не захотел в кино, только афишами любовался.

Оживал дед вблизи остановок, где в ряд громоздились рейсовые «Икарусы». У последнего обычно курили водители. Дед снимал кепку, сворачивал, как газету, подходил не спеша. Его дичились — незнакомого, косолапого, краснолицего, точно уже принял, но дед знал волшебные слова: минута-другая — и он становился своим.

Дома в отсутствие мамы он сеял беду. Как-то выбило пробки, дед отправился к щитку и оставил без света этаж. Соседи вывалили из дверей, возмущались, он оробел, вернулся в квартиру и плакал. Когда чинил мне велосипед — порезался, кое-как остановили кровь, утаили от мамы, дезинфицирующее дед принял внутрь. К концу недели забарахлила антенна, дед закатал рукава и доломал телеэфир окончательно. Как раз подросли мои мультики, и я обругал деда, опять довел до слез. Не забуду этого и не прощу себе никогда — из-за

поганных мультиков, — а дед растирал по лицу слезы, ковырялся в недрах ящика и уверял:

— Сейчас, Саня, сейчас...

Руки у него были в мозолях, обветренные, неотесанные, толстые, будто каждый палец в два городских. Пройдет не так много лет, дед умрет, и в ночь, когда мама узнает об этом, ей приснятся его руки — большие, неловкие, с какими-то длинными гвоздями, что-то он будет мастерить.

Перед отъездом дед попросил в дорогу чтива — «военного про любовь». Мама полезла на полки и добыла «По ком звонит колокол». Напоследок дед мылся долго, точно впрок. Когда вышел в одних трусах и в пару, я стал расспрашивать о зимней деревне.

— Ты же был у нас в Новый год. Не помнишь? — Дед изумился притворно, языком цокал. — Автобусы зимой еле ходят. Заметет трассу — неделю стоит. Провода обледенеют, рвутся, все столбы голые. Метет — рожа в снегу, наелся, напился... песня, — с редким удовольствием заметил дед. Если б в декабре мертвецы из могил поднимались, он охотно рассказал бы о них. — Хуже зимы — март, грязь — ногу не вынуть. Мама твоя десять лет в кирзовых сапогах в школу ходила, очень ей нравилось. Придет — без сил падает.

В этот последний вечер мама снова склоняла деда к переезду — не в город, так поблизости. Мягко начала, избегая упоминать их вчерашнюю